Процесс антисоветского троцкистского центра

Утреннее заседание 29 января

Последнее слово подсудимого Пятакова

Граждане судьи, я отказался от защитительной речи, потому что государственное обвинение было правильно в смысле установления фактов, оно было правильно и в смысле квалификации моего преступления. Но я не могу согласиться, я не могу примириться с одним утверждением государственного обвинителя: это то, что я и сейчас остаюсь троцкистом.

Не думайте, граждане судьи,—хотя я и преступник, но я человек,—что за эти годы, годы удушливого троцкистского подполья, я не видел того, что происходит в стране. Не думайте, что я не понимал того, что делается в промышленности.

Я ведь понимал не только то, что делается. Я же видел, несмотря на то, что это ни в малейшей степени не уменьшает их гнусности преступлений, их объективной значимости, но я же видел, что мы—группа троцкистов, как правильно сказал государственный обвинитель, передовой отряд фашистской контрреволюции, что мы делаем предательские вещи по моим хотя бы не могу для описания помешать об'ективный ход развития промышленности, хозяйства. Но так было. И когда уже к концу 1935 года, к 1936 году мы вплотную подошли, вернее, неправильно,—не вплотную подошли, а оказались в самой гуще государственной измены, предательства и самой неприкрытой фашистской контрреволюции, когда ясно было и для нас, что мы превращаемся в агентуру фашизма, тогда не только у меня было стремление уйти от этого.

И вот тогда, когда не только я предстал перед советским судом, когда я несу полную уголовную ответственность по советским законам перед советским судом за свои преступления, когда мы отвечаем в полной мере за все свои деяния,—тот, во имя которого мы это делали, по прямым указаниям и наущениям которого мы все это совершали, зная его очень хорошо, я думаю,—не найдет ничего другого, как отказаться от того, что мы делали вместе с ним и под его руководством, клеветать на нас, лгать, обвинять в трусости и в чем угодно другом.

Троцкий ничего другого не сделает.

Говорю, что вместе с нами на скамье подсудимых не сидит этот основной преступник, не раскаявшийся преступник до конца, каким является Троцкий.

Я слишком остро сознаю свои преступления и я не смею просить у вас снисхождения. Я не решаюсь просить у вас даже пощады.

Последнее слово подсудимого Радека

Я пошел с троцкистской организацией не во имя теории Троцкого, гнилость которой я понял во время первой ссылки, я не во имя признания его авторитета вождя, а потому, что другой группы, на которую я бы мог опереться в тех политических целях, которые я себе ставил, не было.

Я должен признать вину, исходя из оценки той общей пользы, которую эта правда должна принести. И если я слышал, что на скамье подсудимых сидят просто бандиты и шпионы, то я против этого возражаю.

Дело состоит в следующем — процесс этот показал два крупных факта: сплетение контрреволюционных организаций со всеми контрреволюционными силами страны. Это один факт.

Попадно, государственный обвинитель, суд, которые знают всю историю троцкизма, которые знают нас, не имеют никакой причины подозревать, что мы, неся на спине бремя террора, еще для удовольствия присвоили себе государственную измену. Убеждать в этом нас нет никакой надобности. Надо убедить, товарищи, разъяренные, бросящие троцкистские элементы страны, которые на скамьях еще [illegible], которые должны понять, что мы здесь сидим, потрясенные до глубины, и говорим правду и только правду. И было еще сказать вашему миру то, что Ленин—я с дрожью повторяю это имя в этой связи—в [illegible] директивах для делегации, направляющейся в Гаагу, писал о тайне войны. Кусок этой тайны нашелся в руках сербского молодого националиста Гаврилы Принципа, который мог ударить в крепости, на [illegible] он был сербский националист и чувствовал свою правоту, борясь за эту тайну, которая охраняла сербское национальное движение. Я не могу скрыть эту тайну и взять ее с собой в гроб. И если бы я эту правду спрятал и с ней сошел со сцены, как это сделал Каменев, как это сделал Зиновьев, как это сделал Мрачковский, то я, когда передумывал эти все вещи, в предсмертный час слышал бы еще проклятия тех людей, которые будут убиты в будущей войне и которым я мог можно помаранными дать средства борьбы против готовящейся войны.

Поэтому основываю утверждение, что на скамье подсудимых сидят уголовники, которые потеряли все человеческое.

Часть моих сообщников вернулись на путь борьбы, как убежденные троцкисты, стоящие на точке зрения перманентного отрицания возможности построения социализма в одной стране. Я вернулся, разуверившись в этой концепции Троцкого, вернулся, смалодушничал перед трудностями социализма в 1931—33 г. На этом я споткнулся и пошел обратно в это подполье. И на этом пути я сразу стал предметом обмана.

И какая картина передо мной? Первый этап. Киров был убит. Годы террористической подготовки, десятки бросячий террористических групп, жлущих на авось, чтобы уклонять одного из руководителей партии. А, с другой стороны, я же был достаточно близок к правительству и руководящим кругам партии, чтобы знать, что не только меры предосторожности органов безопасности, но народные массы настолько стали бдительны, что идеи, что можно повалить палкою советскую власть террором, даже с помощью самых преданных, отважных террористических групп, что это—утопия, что можно повергнуть человеческими жертвами, но это не может свалить советскую власть.

Все то, что говорил общественный обвинитель о реставраторском характере не только директивы Троцкого, но всей работы троцкистов,—это правда, которую не пошелеблешь. Самя директивы были директивами на полное восстановление капитализма.

И эта правда—основная правда, имеющая решающее значение для оценки троцкистов, как общественного течения, и это не закрывает обвинителю глаз на это.

Я должен рассказать теперь о закулисной стороне этого совещания, которое мы хотели созвать. Почему это совещание не состоялось, что сорвалось за кулисами этого совещания, почему я даже человеку, так мне близкому, как Бухарин, который знал о ведущемся контакте с представителями западно-европейских и восточных держав,—не сказал о декабрьской инструкции и не сказал о свидании Пятакова с Троцким?

Я буду об этом говорить, потому что это может иметь в дальнейшем практическое значение, и даст ответ на вопрос, не осталось ли еще что-нибудь скрытого. Я думаю, что да: что осталось скрыто и от нас и от плотей, а может быть открыто.

Я несколько возвращусь к фамилии Дрейцера.

Когда Дрейцер в продолжение 7—8 месяцев не появлялся в Москве, я мог думать, что это конспирация. Но когда Дрейцер не явился в январе и, получив от меня телеграмму приехать на совещание, приехал в Москву и не явился ко мне,—он был в Москве в 1935 году и не явился,—то для меня стало ясно, что Троцкий на основе той переписки, которую имел с нами, видя отпор Пятакова и сомнения наши насчет пораженческой линии,—что он создает наряде с параллельным центром какую-то новую чертовщину. Я это вижу в том, что Дрейцер в 1935 году прошел мимо нас.

Когда я прочел материал процесса об объединенном центре, то там не было ни одного факта, который мне был бы неизвестен, который прошел бы мимо других. Это констатает, что тут действовала какая-то третья организация.

И, наконец, когда Пятаков вернулся из-за границы, он бросил мельком о разговоре с Троцким, что Троцкий ему сообщил, что создаются кадры людей, не разрешенных сталинским руководством. Но когда я прочитал об Ольберге и спросил других, знает-ли кто о существовании Ольберга, то об этом никто не знал, и для меня стало ясным, что Троцкий создает здесь, помимо кадров, прошедших его школу, организацию агентуры, прошедшей школу германского фашизма. И я непосредственно нашел ответ этому тогда, когда встал вопрос о совещании. Для меня было ясно, что имели Дрейцер узнает о том, что мы поставим вопрос о директивах Троцкого в такой плоскости, что это может привести снова к расколу, как в 1929 году, то раньше, чем мы поставим этот вопрос, нас уже не будет. Но потому, что Дрейцер плохо к нам относился, но потому, что он был верейшим человеком Троцкого и он имел непосредственно более тесную связь с ним, помимо нас.

Знал ли я до ареста, что это кончится именно арестом? Как я мог не знать об этом, если был арестован заведующий организационной частью моего бюро—Тивель, если был арестован Фридланд, с которым за последние годы я очень часто встречался. Но буду называть других фамилий, я могу назвать еще десяток фамилий людей, которые часто встречались со мною. Я тогда не мог ни на одну минуту иметь сомнения в том, что это [illegible] в Наркомвнуделе. И тогда я должен ответить на вопрос—почему я, вместо каких-то совещаний, не обращался к партии, не обратился к власти, а если я этого не сделал до ареста, то почему не сделал в момент ареста?

Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ состоит в следующем. Я был одним из руководителей организации.

Я прощаю за собою еще одну вину: я, уже признав свою вину и раскрыв организации, упорно отказывался давать показания о Бухарине. Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как и мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу, была та же самая. Но мы с ним—близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания советской власти. Я поэтому не хотел приводить его свидетелем в Наркомвнудел. Я так же, как и в отношении остальных наших кадров, хотел, чтобы он мог сложить оружие.

Мы знаем, что мы не имеем права говорить массе,—не учителя мы ей. Но тем элементам, которые с нами были связаны, мы хотим сказать три вещи.

Первая вещь: троцкистская организация стала центром всех контрреволюционных сил; правая организация, которая с ней связалась и была на пути слияния, является тем же самым центром всех контрреволюционных сил в стране.

Мы находимся в периоде величайшего напряжения, в предвоенном периоде. Перед лицом суда и перед фактом расплаты мы говорим: кто имеет малейшую трещину по отношению к партии, пусть знает, что завтра он может быть диверсантом, он может быть предателем, если эта трещина не будет старательно заделана откровенностью до конца перед партией.

Второе, мы должны сказать троцкистским элементам во Франции, Испании, в других странах, а также есть,—опыт русской революции сказал, что троцкизм есть вредитель рабочего движения. Мы их должны предостеречь, что они будут расплачиваться своими головами, если не будут учиться на нашем опыте.

И, наконец, всему миру, всем, которые борются за мир, мы должны сказать: троцкизм есть орудие поджигателей войны. Сказать это твердым голосом, ибо мы это узнали, мы это выстрадали, нам было несказанно тяжело в этом признаваться, но это исторический факт, и мы за правду этого факта уплатим головой.

Последнее слово подсудимого Сокольникова

В 1935 году — я показал это на предварительном следствии, и здесь на этот счет нужно упомянуть—в 1935 году, когда параллельный центр начал возобновлять свою работу, огромное значение имело то, что в этот момент правый, в лице Томского, который был на это уполномочен всей центральной группой правых, дал свое согласие на вхождение в блок. Это чрезвычайно значительно укрепляло позиции блока, это открывало действительные возможности борьбы, и это подтягивало параллельный центр. Это, в частности, имело значение и для меня.

Наша программа антипартийная, антисоциалистическая. Поэтому она немедленно развернулась и оказалась программой антинародной.

Мы не могли опереться на массы. Значит, следующий шаг был тот, что мы должны были переходить—и попытка такая была—к заговорщическим методам борьбы.

Но мы и для заговора-то не нашли достаточных сил, и мы должны были искать силы, союзников вне нашей организации и вне нашей страны.

Так от заговора мы перешли к авантюрам, и от этих авантюр немедленно попали в фашистскую волчью яму, потому, что союзников нашли в фашистской организации, а они схватили нас, и мы стали их игрушкой.

Я высказываю свое убеждение или, во всяком случае, надежду на то, что не найдется больше ни одной руки в советской стране, которая бы попробовала взяться за древко троцкистского знамени. Я думаю, что и в других странах троцкизм разоблачен этим процессом, сам Троцкий разоблачен, как союзник капитализма, как наиглупейший агент фашизма, как поджигатель мировой войны, которого везде будут ненавидеть и преследовать миллионы.

Я думаю поэтому, что поскольку троцкизм, как контрреволюционная политическая сила, перестает существовать, окончательно разбит, я думаю, что и я, и другие обвиняемые, все обвиняемые, могут все же просить вас, граждане судьи, о снисхождении.

Последнее слово подсудимого Серебрякова

Я воспользовался последним словом подсудимого не для защиты. Я хочу здесь сказать, что целиком и полностью признаю справедливость того, что говорил гражданин прокурор о моих тягчайших преступлениях против родины, против страны Советов, против партии. Также сказать, что я, попадший с ранних лет в революционное движение и прошедший цы десятка лет честным и преданным членом партии, стал в итоге врагом народа и очутился вот здесь, на скамье подсудимых.

Я давал искренние показания на следствии и на суде, потому что я действительно решительно и окончательно порвал с контрреволюционным бандитизмом Троцкого и троцкизма. Поэтому прошу суд поверить в мою искренность, и при своем решении это учесть и принять во внимание.

Последнее слово подсудимого Богуславского

На процессе развернулась отвратительнейшая картина преступлений, предательств, измен. И в этой картине я занимаю отдаленное место. Я сегодня стою перед вами, как государственный преступник, предатель, изменник.

Начался как будто с невинного на первый взгляд [illegible]. В 1933 году группа троцкистов во главе с Троцким, из них часть сидит вместе со мною на скамье подсудимых, составила так называемое письмо 46, в котором были заложены уже все элементы того, к чему мы пришли. Я помню свое ощущение и, мне кажется, это на [illegible] мне, когда я подписывал это письмо. Вот перед мною были авторитетные товарищи—большевики, занимающие очень ответственные места, ответственные положения в партии, в государстве. И я [illegible] о том, о чем неоднократно учил [illegible] Ленин, что одним авторитетам, только своим верить нельзя; он учил разбирать добросовестно по всем спорным документам для того, чтобы выносить свое мнение. Вот это слепое доверие к так называемым авторитетам я лично вижу в своем не только глубоком, но и окончательном падении.

Вторая причина, это опять таки небольшое одного из основных в партийном строительстве заветов Ленина о том, что, раз сбившись с пути, раз ошибившись, нельзя упорствовать и настаивать на ошибках, ибо, как правильно вчера упоминал государственный обвинитель, это может привести и приводит, как и нас привело, в фашистское контрреволюционное болото.

И, наконец, третья причина. Я считаю необходимым о ней еще раз сказать, я об этом говорил в своих показаниях здесь на суде. Это—система обмана, система постоянного обмана, и я должен сказать, что обман обнаруживается у Троцкого и у его ближайших соратников не только в 1934 и в 1935 году, когда окрепли так называемые объективы. Например для меня и из нас—троцкистов, в том числе и для меня, которые были тогда в Москве и были довольно близки к Троцкому и к его ближайшим соратникам, для нас было [illegible] за улицу 7-го ноября 1927 года. Они [illegible] от нас это, и [illegible] этом самой демонстрации, [illegible] фактов, перед необходимостью [illegible] за этот великий, за [illegible] преступный антисоветский шаг, за попытку вывести борьбу на улицу. Я об этом упоминаю для того, чтобы сказать, что это не случайно. Это метод, это система, и это я подчеркиваю еще раз сегодня потому, что ведь Троцкий еще жив, здоров и пока еще вождь не выдохся, он продолжает сегодня обманывать не только свою сторонницу, но, к счастью безуспешно, старается обманывать и рабочих. В нашей стране это ему не удастся, но в той или иной мере это может ведь ему удаться и в других странах и вот разоблачение этого обмана — есть величайшая необходимость. И я считаю одной из причин такого глубокого и такого окончательного падения вот эту систему обмана.

Граждане судьи, когда вы подойдете к вопросу о наказании для меня, я прошу вас учесть следующее: я уже человек не молодой,—прошел шестой десяток лет, и не все эти годы накопились у меня преступным содержанием.

Когда я ставлю перед собой вопрос, действительно ли я в конец закоренелый и неисправимый преступник, — я отвечаю себе: не может этого быть, нет, и это дает мне право просить снисхождения, просить пощады.

Последнее слово подсудимого Дробниса

Вчера государственный обвинитель с исчерпывающей полнотой дал оценку всем моим тягчайшим преступлениям.

Воспитанный и вскормленный своим рабочим классом, я стал против этого класса, как самый злейший враг и предатель его.

Мне 46 лет. Незадолго до моего ареста исполнилось 30 лет моего пребывания в рядах партии. Я стал отверженным, проклятым сыном трудящихся масс. Суд вынесет мне приговор. Как бы [illegible] он ни был, я его приму, как [illegible] и заслуженное. Но если, граждане судьи, у вас найдется хоть малейшая возможность дать мне умереть не опозоренным [illegible], а пройдя все тяжкие испытания, вернуть меня в ряды того класса, из которого я вышел,—я буду почитать для себя высшей и священной обязанностью [illegible] в целом этот дар трудового народа и служить ему до самой своей кончины.

Последнее слово подсудимого Муралова

Вчера государственный обвинитель усомнился в нашей искренности, в искренности наших показаний. Я отнес это и по своему адресу, потому что, конечно, имеется законное сомнение по отношению к преступникам. Но я заверяю суд, что я ничего не скрыл, дал исчерпывающие сведения о своей преступной деятельности и дал соответствующую оценку.

Сумев двоим лет я был верным солдатом Троцкого, этого злодея рабочего движения, этого, достойного всякого презрения агента фашистов, врага рабочего класса и Советского Союза. Но ведь свыше двух десятков лет я был верным солдатом большевистской партии. Вот эти обстоятельства заставили меня все честно сказать и рассказать и на следствии, и на суде. И эти мои чистосердечные показания я прошу учесть при вынесении мне того или иного приговора.

Последнее слово подсудимого Норкина

На следствии я без утайки рассказал [illegible] о своих преступлениях. Я совершенно раскаялся. Все мои показания совершенно искренни и точны. Если суд найдет какие-либо обстоятельства достаточными для того, чтобы смягчить оценку и пощадить мою жизнь, я заверяю, что буду с величайшей жадностью накапливать силы и [illegible] Троцкому.

Последнее слово подсудимого Шестова

Граждане судьи, 13 лет я был членом контрреволюционной, троцкистской террористической, подрывной и фашистской организации. Последние пять лет активно подготовлял, пытался убивать вождей трудового народа, вождей рабочего класса и угнетенных капиталистического мира.

Последние пять лет я был [illegible], был агентом самого реакционнейшего отряда мировой буржуазии, агентом немецкого фашизма.

Я знал, на что я шел. Я знал, куда я иду, и я знал, что меня ожидает, если будет провал организации, которой я руководил. Пощады не прошу. И теперь я хочу одного: встать на место казни и своею кровью смыть пятно изменника родины.

Последнее слово подсудимого Строилова

Можно лишь признаниями, а также тем исчерпывающим анализом, который в своей речи сделал государственный обвинитель, полностью представлены и доказаны мои преступления и вся тяжесть моей вины, которым нет оправдания.

Я не могу ни в какой мере уменьшить мои преступления и тяжесть моей вины, которая перед страной очень велика.

Но я пытался в начале 1934 г. порвать мои преступные связи с разведкой враждебного государства и встретил яростное сопротивление сибирского центра троцкистской организации, предложившего мне продолжать совместную работу.

С одной стороны, я выполнял задания, исходившие из источника троцкистско-зиновьевского центра. С другой стороны, видя прекрасное отношение ко мне общественности, партии и правительства, чувствовал, что это вредительство противно духу сознания, понятного мне как инженеру.

Я прошу суд снисходительно отнестись ко мне, пощадить меня, сохранить мне жизнь. Я имею опыт, и я приму все меры мобилизовав свои знания и опыт, в тому чтобы предупредить работой, сознательной работой хотя бы отчасти загладить свою величайшую вину перед пролетарским государством.

Вечернее заседание 29 января

Последнее слово подсудимого Арнольда

Граждане судьи, я с малолетства получил в наследие от царской России позорное клеймо «незаконнорожденный». Приспособливаясь к жизни, которая оказалась такой путаной, я могу обвинять в этом только царскую Россию, капиталистическое общество, в котором я приспособлялся. В результате, как это вышло, я—рабочий, родители мои—рабочие, и я вдруг очутился в рядах троцкистов.

Несмотря на то, что я совершил большое преступление, несмотря на то, что прокурор требует высшей меры наказания в отношении меня, я все-таки прошу сохранить мне жизнь и я постараюсь оправдать не на словах, а на деле.

Последнее слово подсудимого Лившица

Граждане судьи! Обвинение, пред'явленное мне государственным обвинителем, усугубляется еще тем, что я из рабочих [illegible] был поднят партией на высоту государственного управления—до заместителя народного комиссара путей сообщения. Я был окружен доверием партии, я был окружен доверием соратника Сталина — [illegible]. Я это доверие растоптал в контрреволюционном троцкистском болоте и [illegible] на путь предательства и измены родине.

Я не могу считать, я не могу ссылаться на то, что я не знал всей программы Троцкого и центра, хотя в до[illegible]ности всей программы, которая ра[illegible] на этом процессе, я не знал. Фак[illegible] фактом, что Троцкий является [illegible]низатором, организатором восста[illegible] капитализма в нашей стране. Троцкий подготовляет вместе с самыми ого[illegible] самыми черными силами фашизма [illegible] и поражение в этой войне СССР, а [illegible] этой подлой предательской работе ему [illegible] помогал. Так я дошел до последней [illegible]

Последнее слово подсудимого Князева

Вчера я слушал речь государственного обвинителя с исключительным вниманием и напряжением.

Несмотря на то, что она была суровой, но я, честно говоря, должен прямо и мужественно сказать, что она была справедливой, так, как квалифицировал гражданин обвинитель мои преступления перед партией и родиной. Я могу лишь только одно здесь сказать, что ни в одном своем шаге, ни в один момент своей 2½-летней преступной работы в троцкистской организации, в связи с японцами, я никогда не преследовал личных целей и личных интересов. В этом отношении моя совесть чиста. Да, я больше скажу того, что сказал гражданин государственный обвинитель. Я работал над подготовкой войны. [illegible] говоря, над ее приближением, для того, чтобы расчистить путь, разжать путь прихода к власти подлецу Троцкому.

Гражданин государственный обвинитель совершенно правильно сказал, что вся [illegible] за нашей подрывной, предательской, [illegible] вероломной работы сосредоточивалась [illegible] крушениях.

Я прошу учесть при решении моей судьбы мое заявление, которое я [illegible] перед началом следствия, где я писал, что если мне будет сохранена жизнь, то я всеми силами, своими знаниями и [illegible] постараюсь получить все мои преступления и я еще раз подтверждаю, [illegible] и их искупить.

Последнее слово подсудимого Турока

Граждане судьи, мне, которого обвинитель в своем обвинении назвал бандитом, сравнив меня, как и моих соратников по скамье подсудимых и по действиям, с тем, кто на большой дороге стоит с кистенем и финкой, причем это название явилось следствием не случайно произнесенного слова обвинителем, а явилось результатом тех преступных действий, которые я совершал, очень тяжело, конечно, просить у пролетарского суда, а по существу через него у советского народа, как изменнику, как бандиту снисхождения.

Из 20 лет моего пребывания в партии, я 14 лет честно и предано служил делу революции. Я активно участвовал в гражданской войне, я имел правительственные награды. Я прошу, граждане судьи, учесть это мое заявление.

Последнее слово подсудимого Ратайчака

Граждане судьи, тяжело говорить о всех преступлениях, совершенных каждым из нас, участников троцкистской контрреволюционной организации.

На следствии я дал исчерпывающие и искренние показания о всей той работе, которая проведена людьми по моим заданиям. Я указал всех известных мне участников этой подпольной организации для того, чтобы не оставить никаких хвостов или остатков, по оставить людей, которые хотя бы в малейшей мере были заражены ядом этого троцкистского болота.

Я провел целый ряд актов, и по моим заданиям их проводили люди, связанные со мною, чудовищных актов преступлений против партии, против советской власти, против советского народа.

Каждый наш акт, совершенный на том или другом предприятии, вызывал лишь новый энтузиазм в рабочем коллективе, каждый совершенный акт вызывал новую реакцию в работе предприятий, приводил к новым достижениям.

Я еще способен к труду, и если суд найдет возможным сохранить мою жизнь, дать возможность честным трудом искупить вину перед Советской страной.

Последнее слово подсудимого Граше

Граждане судьи, я отказался от своего права на защиту и в своем последнем слове тоже не хочу распространяться о том, как я пошел до жизни такой, как я [illegible] к предательству интересам тр[illegible]

Я прошу суд поверить мне, что я [illegible] и полным отчаяния [illegible] преступлениях перед трудящимися Советского Союза, что я ничего не скрыл и не старался преуменьшить своей вины.

Прошу суд учесть это, равно, как и мое полное и чистосердечное сознание в моих преступлениях и, если возможно, дать мне возможность честным трудом, хотя бы частично смягчить тот вред, который я принес своей преступной деятельностью.

Последнее слово подсудимого Пушина

Граждане судьи, с полной откровенностью я рассказал на следствии и суде все, что известно мне о работе контрреволюционной троцкистской организации, рассказал и о своих собственных тяжких преступлениях.

И если я сейчас прошу суд о снисхождении, то только для того, чтобы, если суд найдет возможным сохранить мне жизнь, отдать всю жизнь до честное служение на пользу моей родины и моего народа.

Последние слова подсудимых печатаются в сокращенном виде.